

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава третья

“ВАШИ РУКИ В КРОВИ...”

Разделение на “свой” – “чужой” в литературной среде шестидесятых было демонстративным и жёстким. Помнится, как из фильма “Застава Ильича”, снятого Марленом Хуциевым с явным идеологическим заданием на восстановление “ленинских норм жизни”, были выброшены кадры, в которых читал свои стихи на знаменитом вечере в Политехническом поэт Сергей Поликарпов – единственный из всех выступающих сын русского простонародья. Ему пришлось выступать в компании широко известных выходцев из интеллектуально-либеральной элиты тех лет – с Михаилом Светловым, Борисом Слуцким, Булатом Окуджавой, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Риммой Казаковой... Весь цвет шестидесятничества... Но Сергей Поликарпов, как пишет в своих воспоминаниях русскоязычный писатель из Узбекистана Мир-Хайдаров, присутствовавший на этом вечере поэзии, не оробел, не стушевался и даже бровью, как говорится, не повёл:

“Настал черёд и нашего героя. Он был молод, заканчивал Литинститут, несмотря на крепко сбитую фигуру, выглядел стройным, как гимнаст, в армии он успешно занимался этим видом спорта. Русоволосый, волевое лицо с глубоким шрамом на губе, и мощным, почти оперным баритоном. Прочитав первое стихотворение, он сделал паузу, решил проверить зал, как он воспримет столь дерзкие стихи незнакомца поэта. Сергей Поликарпов уже имел опыт выступлений в аудиториях, знал цену себе и своим стихам, потому он читал свободно, страстно: он читал стихи не о себе любимом, а о жизни народа:

*Деревня пьёт напропалую —
Плетьень последний пропила,
Как будто бы тоску былую
Россия снова обрела.
Первач течёт по трубам потным,
Стоят над банями дымки...
— Сгорайте в зелье приворотном,*

*Скупые старые деньки!
Зови, надсаживаясь, в поле,
Тоскуй по закромам, зерно!..
Мы все сгораем поневоле,
Мы все осуждены давно
Своей бедою неизбытной —
Крестьянской жилой дармовой,
Пьём горестно и ненасытно
За рослой стражною стеной...
Под Первомай, под аллилуйю
И просто, в святцы не смотря,
Россия пьёт напропалую,
Аж навзничь падает заря!..”*

На этом Сергей Поликарпов не остановился. Его второе стихотворение воспринималось Политехническим, как говорится, в “мёртвой тишине”:

*Едва над входом гробовым
Вчерашнего всея владыки
Рассеется кадильниц дым
И плакальщиц замолкнут клики,
Как воспринимающие власть,
Как будто бы кутьёй медовой,
Обносят милостями всласть
Круг приживальщицкий дворцовый,
А прочим — вторят старый сказ,
Что бедам прошлым не вернуться...
Меняется иконостас,
Но гимны прежние поются...*

Из воспоминаний Мир-Хайдарова:

“Зал застыл в гробовом молчании, переваривая немислимые откровения поэта, и вдруг взорвался аплодисментами: — Молодец! Еще, еще! Bravo! Bravo! И он, шагнув к краю сцены, читал и читал, а его все не хотели отпустить. Помощники режиссера шипели сзади: “Хватит! Хватит!”. Но Сергей понимал, что это его звёздный час, он далеко обставил всех поэтов, уже упивавшихся своим успехом, оттого и не обращал внимания на окрики киношников, снимавших фильм об этом вечере поэзии.

Читал он одним из последних в тот вечер, видел и понимал разницу, как принимали его и других. Да, аплодировали многим, но взрыв аплодисментов, шквал одобряющих выкриков не достался тем, всем вместе взятым, в таком объеме и мощи. В этот день он раздал сотни автографов, толпа поклонников провожала его до метро, как оперного тенора, такой успех бывал только у Козловского и Лемешева. Если сравнить успех вступления Поликарпова по-одесски с обозначенным мною списком, они там все и рядом с Сергеем не стояли. Столь ошеломительный триумф, казалось, не забыть никогда. Надеюсь, вы понимаете, как Сергей ждал выхода фильма, с ним студент связывал большие надежды, был уверен, что перед ним откроются двери издательства, заметят в СП, газетах, журналах, на радио. Литинститут гудел, признавая его победу. Выступления поэтов в Политехническом кто-то назвал турниром, где определяют короля поэтов. И вспоминали Игоря Северянина, избранного в узком кругу таким королём. Но шутивное определение у Северянина осталось не только на всю жизнь, оно вошло и в историю. Доброжелатели в Литинституте, бывшие на тех вечерах, так и трактовали успех своего коллеги.

... Фильм вышел. Но принес жестокое разочарование Сергею: в фильме не было ни одного кадра с ним, ни одного! Более того, снятый крупным планом зал во время его долгого выступления, тот взрыв аплодисментов, рев приветствий, обращений к нему примонтировали к совсем другим, куда более известным поэтам. Разве можно забыть такую подлость? Как пережить, когда твою победу украли и по кускам раздали другим? Он-то хорошо видел зал, видел лица знакомых и друзей, их восторг и благодарность, их восхищение, которое

адресовалось только ему, студенту Поликарпову, мальчишке, уцелевшему в оккупации.

Турнир, если так назвать выступления поэтов, Поликарпов выиграл у всех в честном соревновании, и весь восхищенный зал аплодировал ему стоя, когда он покидал сцену. Об этом историческом выступлении поэтов многие помнят до сих пор, но мало кто знает правду. Уже 50 лет удачливые поэты, чья карьера, успех состоялись отчасти благодаря тому выступлению в Политехническом, написали сотни статей, воспоминаний, многократно выступали на телевидении и в публичных местах, объездили полмира, но никто из них не признал, что результаты того открытого соревнования поэтов перевернуты в кино с ног на голову, победитель остался вне истории, и они ни разу нигде не упомянули Сергея Поликарпова. А ведь он жил рядом с ними.

Многих из небожителей, о которых я вспоминаю, часто называли совестью, честью эпохи, страны, но ни один из них не признался, что они присвоили себе победу Сергея, вплоть до предназначенных только ему аплодисментов. Не вмешались в монтаж фильма Марлена Хуциева, не закрыли фильм до выхода на широкий экран, хотя видели его в закрытом показе в Доме кино, опять же, для избранных, куда Сергей не смог попасть. В блатной лексике есть удивительное по емкости слово, четко определяющее неблагоприятный поступок, тут оно явно к месту: все наши упоминавшиеся поэты шестидесятники и Марлен Хуциев поступили по отношению к Сергею Поликарпову – “западло”.

Когда Лариса Васильева, трогательно опекавшая Сергея Поликарпова, однажды спросила Хуциева: “Почему ты, Марлен, выбросил из фильма кадры с Сергеем Поликарповым?”, то Хуциев ответил ей без объяснений: “Его выступление не укладывалось в формат фильма”.

Но на самом деле суть была не в формате, а в том, что Сергей Поликарпов для шестидесятнической элиты был в социальном и мировоззренческом смысле чужаком, не вписывавшимся в компашку “детей XX съезда”. Все выступавшие вместе с ним были отпрыски из семей “комиссаров в пыльных шлемах”, из сословия местечковых торговцев-нэпманов, из семей партийных работников, чекистов, энкавэдешников и крупных государственных чиновников. Сам Марлен Хуциев не случайно носил имя, составленное из слов “Маркс” и “Ленин”, поскольку его отец Хуцишвили, чья карьера закончилась в эпоху большого террора в 30-е годы, дослужился до должности заместителя наркома внешней торговли Советского Союза... И вполне естественно то, что им, отпрыскам советской элиты, совершенно не нужен был какой-то поэт из простонародья, да ещё добившийся такого успеха в “ихнем” Политехническом. “Политехнический – моя Россия”, как сказал об этом гнезде либерального шестидесятничества Андрей Вознесенский. А у Сергея Поликарпова – бывшего колхозника и солдата, Россия, естественно, была другой.

* * *

И, конечно, нас, детей России, навсегда развела с детьми XX съезда по разным сторонам баррикад кровь, пролитая Ельциным и его опричниками 4 октября 1993 года.

На это кровопролитие их воодушевило коллективное “письмо 42-х” шестидесятников, с которыми Ельцин не раз встречался в Бетховенском зале и где они яростно увещевали коммунистического расстригу: “Действуйте, Борис Николаевич!” Об этой провокационной роли деятелей культуры циничнее и откровеннее всех высказалась вскоре после октябрьской трагедии стопроцентная “шестидесятница” Валерия Новодворская в восторженной статье, названной строчкой из “шестидесятника”-“ленинца” Окуджавы **“На той единственной гражданской”**, опубликованной в журнале “Огонёк”, где главным редактором был “шестидесятник” В. Коротич:

“Я желала тем, кто собрался в “Белом доме”, одного – смерти. Я жалею и жалею только о том, что кто-то из “Белого дома” ушёл живым.

Мы вырвали у них страну. Ну, а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным” (“Огонёк”, № 2–3, 1994 г., стр. 26).

А в своей книге “По ту сторону отчаяния” Новодворская добавила: **“Я благодарна Ельцину... Пойдём против народа. Мы ему ничем не обязаны...”**

Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле, и очень важно научиться стрелять первыми, убивать...

Её статья явилась естественным продолжением «расстрельного» письма 42-х, опубликованного в «Известиях» 5 октября 1993 года.

Для статистики и для суда потомков будет полезно знать, что из 42-х подписантов «известинского письма» две трети — это классические «шестидесятники», «дети XX съезда партии»: Алесь Адамович, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Александр Борщаговский, Александр Гельман, Андрей Дементьев, Александр Иванов, Римма Казакова, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Александр Кушнер, Татьяна Бек, Юрий Левитанский, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова и др. И, конечно же, все они были единомышленниками и всё, что у Новодворской «было на языке», у них «было на уме». Недаром такими же, как у Новодворской, чувствами была переполнена душа её кумира Булата Окуджавы: **«Мы ловили каждый звук с наслаждением»** (Новодворская о взрывах танковых кумулятивных снарядов в «Белом доме»); **«Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим <...> никакой жалости у меня к ним не было»** (слова Окуджавы из интервью газете «Подмосковные известия», 11 декабря 1993 года).

«Такие, как я, — не унималась Новодворская в своих кощунственных заклипаниях, — вынудили Президента на это решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: Кровь Его на нас и на детях наших», «Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ»...

Пусть неожиданное сравнение Новодворской сорока двух подписантов письма с иудейской чернью, потребовавшей распятия Божьего Сына, останется на её совести. Особенно важно, что, рассматривая эту драму, мы убеждаемся в том, что Ельцина и его лакеев (Гайдар, Лужков, Грачёв и др.) осудили все православные служители, начиная от Патриарха и кончая рядовыми священниками:

«Тот, кто поднимает руку на беззащитного и проливает невинную кровь, будет отлучён от церкви и предан анафеме» (из заявления Священного Синода РПЦ от 30 сентября 1993 г.)

«Люди попрали нравственные принципы и пролили невинную кровь. Эта кровь вопиет к небу и, как предупреждала святая церковь, останется несмываемой каиновой печатью на совести тех, кто вдохновил и осуществил богопротивное убийство невинных близких своих, Бог воздаст им и в этой жизни и на страшном суде Своём» (из обращения Патриарха Алексия II в Троице-Сергиевой лавре от 8 октября 1993 г.)

«Мы знаем, что те, кто пришли к «Белому дому» в октябре 1993-го <...> это мученики во имя богочеловечества, дарованного нам Богом Иисусом Христом ценой его страданий и искупительной жертвы» (Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн)...

С подобными же обращениями к народу выступили священники А. Шаргунов, С. Красовицкий, Дм. Дудко и многие другие. Поразительно то, что ельцинский режим был осуждён людьми церкви, которые претерпели немалые притеснения от советской власти.

«Они, — пишет Новодворская в «Огоньке», — погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами... Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение».

Единственный, кто из 42-х подписантов сатанинского письма прилюдно ужаснулся октябрьской бойне, был писатель Юрий Давыдов. Остальные, промолчав, согласились с Новодворской, что они — «убийцы», члены фарисейского Синедриона, и такие же местечковые демоны «той единственной гражданской», какими были Розалия Землячка-Залкинд, Лариса Рейснер, Софья Гертнер из питерского ЧК, Евгения Бош, Ревекка Майзель и прочие «комиссарши», правдиво изображённые в стихотворении Ярослава Смелякова «Жидовка». Но наши нынешние по сравнению с ведами той эпохи куда более прагматичны. Как пишет Новодворская, они **«выскочили на Красную площадь»**, чтобы защищать не только **«свободу»** и **«Президента»**, но и **«нашу будущую собственность, и нашу будущую же законность»**.

Через какое-то время после 4 октября российское телевидение показало словесную схватку между подписантом “письма 42-х” Андреем Нуйкиным и Вадимом Кожинным. Секундантом дуэли был, кажется, тележурналист из “Взгляда” Александр Любимов. Когда схватка, которую Нуйкин проиграл вчистую, закончилась, Любимов предложил противникам пожать друг другу руки. Нуйкин протянул руку Кожинному, но тот отказался от рукопожатия со словами: “Ваша рука в крови”...

Эта несмываемая кровь окончательно и навсегда разделила нас – детей русского простонародья и “детей Арбата”, в крови которых всегда жила “к предательству таинственная страсть”...

Вот что требовала от ельцинской власти кучка бывших советских литераторов, мгновенно переродившихся в те дни в ренегатов:

“Фашисты взяли за оружие, пытаются захватить власть”, “Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми”... Добрыми к кому? К убийцам? Терпимыми... К чему? К фашизму? <...> “Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют судом над ГКЧП”, “Органы печати <...> должны быть закрыты”, “Все виды коммунистических и националистических партий <...> должны быть запрещены”, “Съезд народных депутатов, Верховный совет, образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд <...> признать нелегитимными”... (из письма 42-х)

Нет сейчас надобности пересказывать весь текст этого коллективного документа, о котором выдающийся драматург и честный человек Виктор Розов в те дни отозвался так:

“Написано оно, на мой взгляд, – отчеканил фронтовик Розов, – людьми злыми, мстительными. От этого обращения веет беспощадным большевизмом и ранним фашизмом. Не буду перечислять порочность каждого положения этого воззвания. Скажу только об особо отвратительных его проявлениях. Призыв к тому, чтобы Вы не поддавались псевдохристианским призывам “не мстить и не допускать жестокость”. Это, г-н президент, призывы истинно христианские, а призывы авторов обращения – антихристианские, бесчеловечные, сатанинские”.

(“Независимая газета” 19 октября 1993 г.)

С подобными же чувствами и словами, не боясь никаких последствий, гласно осудили в печати ельцинско-гайдаровскую свору “псов и палачей” наши бесстрашные русские люди – Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Власов, Александр Зиновьев, Владимир Крупин, и даже узники советских лагерей Андрей Синявский, Владимир Максимов, Леонид Бородин и отец Дмитрий Дудко. А народный артист России Владимир Гостюхин выступил 19 марта 1994 года в газете “Советская Россия” с такими словами:

“В одном из интервью Булат Окуджава заявил, что наслаждался зрелищем штурма “Белого дома” и смотрел его, как потрясающий детектив”. Это признание меня потрясло! Неужели это Булат Окуджава? Кумир мой, да и вообще молодых людей шестидесятых годов. Мы выросли на его песнях, я знал их наизусть и очень любил. И вот этот поэт-гуманист наслаждается телерепортажем о массовой бойне. Уму непостижимо!

Когда я узнал, что в филармонии Минска состоится пикетирование концерта Окуджавы, то естественным движением души было выразить свой протест. Я пришёл с пластинкой бывшего своего кумира и на глазах собравшихся сломал её. Один из зрителей вышел на сцену с цветком. Окуджава потянулся за ним, но молодой человек сломал цветок и вышел из зала. Так он простился со своим кумиром”.

Письмо “42-х” давно известно всем серьёзным историкам минувшей эпохи, но мало кто знает, что за три дня до расстрела российского парламента – 2 октября 1993 года русскими писателями патриотами было выработано и подписано ещё одно коллективное письмо под заголовком “Слово художников”. Вот его текст:

“Над Россией совершено насилие, второе в этом столетии. После первого, отменившего высший закон государства, на котором зиждилось экономическая, общественная и моральная жизнь страны, насилие проникло в каждый дом, в каждую пору общества.

Россия, охваченная террором и гражданской войной, потеряла несметные богатства, лучших людей, погрузилась в духовную тьму.

Второе, случившееся на днях насилье, растоптавшее основной закон государства, в котором содержались гарантии личной и общественной безопасности, связи, сочетающие человека с человеком, гражданина с обществом, — уничтожение этого закона рассыпает в прах всю юридическую и моральную пирамиду общественного смирения, открывает путь силам хаоса и деградации.

Социальный страх, с которым жила Россия почти целый век, и который, как нам казалось, живительно преодолевался на начальном этапе преобразований, — социальный ужас в эти дни опрокинулся на Россию, парализовал психическую и духовную жизнь людей.

Нация страшится гражданской войны, распада страны, репрессий, политического садизма.

Мы, русские интеллигенты, не имеем в руках рычагов властного влияния, не воздействуем на банки, министерства и гарнизоны, но, может быть, острее других чувствуем исторические дороги нашей Родины.

Уповая на самое святое в человеке — на чувство Бога и Родины, на любовь к живым сыновьям и умершим отцам, на светоносное в русской культуре и народной душе, мы обращаемся к Ельцину и Хасбулатову: переверните назад страницу в книге русской беды, сумеете любой ценой сделать так, чтобы высший закон страны немедленно вернулся к исполнению.

Сограждане, братья, пусть в эти дни вас не окутает страх, неверие и ненависть. Не посмейте поднять оружие на брата. Слишком много нас было убито в этом веке на войнах гражданских и мировых, в застенках, на этапах, в голодных могах. Не дадим опять пролиться русской крови.

В эти мрачные дни каждый в себе самом, в семьях, на рабочих местах соберём в своём сердце мужество, честь, любовь к отчизне. Не позволим себя запугать и обмануть. Сосредоточимся на единой мысли: конституционный и нравственный закон российского государства должен быть сохранён. Идея свободы, выраженная в букве закона, должна торжествовать. Пусть минует нас проклятие истории. Пусть наша любимая многострадальная родина избегнет страшной беды". Письмо подписали: Юрий Бондарев, Василий Белов, Валентин Распутин, Леонид Бородин, Владимир Крупин, Владимир Личутин, Станислав Золотцев, Николай Тряпкин, Станислав Куняев, Владимир Бондаренко, Александр Проханов, Александр Невзоров, Юрий Власов, Пётр Проскурин, Юрий Кузнецов, Геннадий Ступин, Наталья Варлей, Вадим Кожин, Вячеслав Клыков, Александр Шилов, Николай Бурляев, Татьяна Доронина, Николай Пеньков, Всеволод Овчинников, Станислав Говорухин, Сергей Михалков, Георгий Свиридов, Игорь Шафаревич, Михаил Ножкин, Игорь Горбачёв, Людмила Зайцева, Пётр Паламарчук, Сергей Бондарчук, Эдуард Лимонов, Виктор Розов, отец Дмитрий Дудко, Виктор Лихоносов, Александр Зиновьев, Тимур Пулатов, Пётр Краснов, Глеб Горбовский, Александр Казинцев.

Что и говорить! По своей значительности, по вкладу в русскую культуру, по честности творческих судеб список наших имён был куда более убедительным, нежели список сорока двух ренегатов-«шестидесятников», открыто призывавших ельцинско-гайдаровскую власть к государственному перевороту.

Но как отличается наше письмо по мыслям, по стилю, по отчаянным попыткам найти выход из кровавого тупика от «письма 42-х»!

Мы пишем с горечью: «Мы русские интеллигенты, не имеем в руках рычагов властного влияния, не воздействуем на банки, министерства и гарнизоны, но, может быть, острее других чувствуем исторические дороги нашей родины».

Они пишут с ненавистью: «Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать».

Мы пишем, давая добрый совет лидерам враждующих ветвей власти: «Уповая на самое святое в человеке — на чувство Бога и Родины, на любовь к живым сыновьям и умершим отцам, на светоносное в русской культуре и народной душе, мы обращаемся к Ельцину и Хасбулатову: переверните назад страницу в книге русской беды, сумеете любой ценой сделать так, чтобы высший закон страны немедленно вернулся к исполнению».

Они диктуют власти и обществу ультиматум: «Мы должны на этот раз жёстко потребовать от правительства и президента то, что должны были (вместе с нами) сделать давно».

И далее идёт список требований со стороны этих либералов-“шестидесятников”: “запретить указом президента или признать нелегитимными все “партии”, “фронты”, “объединения”, и “съезд народных депутатов”, и “Верховный Совет”, и “Конституционный суд”, “закрыть” (а не просто ввести цензуру) газеты “День”, “Правду”, “Советскую Россию” и т. д.

Мы обращались к народу со словами: “Сограждане, братья, пусть в эти дни вас не окутает страх, неверие и ненависть. Не посмейте поднять оружие на брата. Слишком много нас было убито в этом веке <...> не дадим опять пролиться русской крови”.

Они, лицемерно разыгрывая трагикомедию, лили крокодиловы слёзы по трём юношам, погибшим в тоннеле во время исхода танков от Парламента в августе 1941 года: “Скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши (как, наверное, и ваши) сердца”.

В этом же письме защитники российского Парламента были названы “красно-коричневыми оборотнями”, “ведьмами”, “убийцами и хладнокровными палачами”, как будто не их тела (в количестве полутора тысяч, как полагают нынешние историки) были октябрьской ночью погружены на борты и увезены в неизвестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара, Новодворской, Чудаковой, Окуджавы и прочих “гуманистов-шестидесятников”.

Наше Письмо, зовущее не к расправе с мировоззренческими врагами, а к примирению двух враждующих станов, было написано 2 октября 1993 года, словно предчувствие надвигающейся драмы, за два дня до ельцинской кровавой расправы с парламентом, по сравнению с которой ленинское взятие Зимнего дворца 6 ноября 1917 года, когда погибло то ли три, то ли четыре человека, было детским лепетом истории. Если вспомнить, сколько профессионалов из спецназа КГБ и ОМОНа, сколько провокаторов, стрелявших с соседних зданий (как на киевском майдане) по обеим враждебным сторонам, сколько всяческих отечественных и зарубежных СМИ было задействовано, чтобы раздуть пламя братоубийственной схватки!

С нашим письмом нечего было соваться на ельцинское или лужковское ТВ, вся патриотическая пресса по требованию “42-х” была закрыта, а “Наш современник” опечатан лужковскими прокурорами. Поэтому мы сумели обнародовать своё письмо лишь в подпольном номере прохановской газеты “День” 7 октября 1993 года. Оно, конечно, не смогло повлиять на ход событий, но мы, ещё не зная о провокаторском листке “42-х”, опубликованном 5 октября 1993 года, угадали его содержание и успели изложить для истории своё понимание происшедшей трагедии. Мистический момент в этом совпадении тоже присутствовал: наше письмо было подписано тоже сорока двумя писателями. В отличие от “известного письма”, подписанного в основном русскоязычными русофобами – наше было написано, одобрено и подписано действительно цветом коренной русской интеллигенции. В сущности – оно было прямым продолжением “Слова к народу”, написанного Юрием Бондаревым, Валентином Распутиным и Александром Прохановым и опубликованного в трагические дни августа 1991-го, когда мы, к несчастью, не победили. В этой борьбе победили они, но какой ценой?

О такого рода победах честный “шестидесятник” Наум Коржавин сказал, что их творцы “не отличают славы от позора”.

* * *

Расстрел российского парламента был подготовлен в 1991–1993-м годах бешеной компанией средств массовой информации, которые были отданы ещё при Горбачёве в руки нашей пятой колонны. Помню, с какой сатанинской радостью на круглом столе у Познера вещал об этой всенародной трагедии сын крупного советского чиновника-дипломата Виктор Ерофеев:

“Освобождение от империи – это радость. Распад Союза – это радость, а не трагедия. Все соседи радуются этому освобождению”.

Абхазия, во всех школах и музеях которой висят фотографии молодых людей в чёрных рамках, павших в борьбе с грузинскими колонизаторами, “радуется”. Южная Осетия, пережившая два кровопролитных нападения, – тоже радуется. Особенно искренне и благодарно радуются изгнанные из Карабаха армянскими боевиками азербайджанцы и растерзанные в отместку за это

изгнание сумгаитские армяне. Радуются в Грузии гальские грузины, изгнанные за погромы, которые творили грузинские бандформирования в Абхазии в 1991–1992 годах, радуются похороненные в братских могилах жители Приднестровья, погибшие во время бесчинств молдавских националистов в Бендерах, радуются киргизские, таджикские, узбекские рабы, стоящие толпами у выезда из Москвы на Ярославском шоссе, готовые за копеечную плату на любую чёрную работу. Радуются распаду Советского Союза сотни тысяч русских людей, изгнанных из Чечни, радуются десятки тысяч чеченцев, погибших в братоубийственной войне, организованной Ельциным и Гайдаром, Березовским и Черномырдиным. Радуются Ерофеев и Сванидзе, Швидкой и Познер, получившие в своё распоряжение телеканалы, телестудии, телепрограммы – словом, всю четвертую власть над “радующимся” народом.

Что же касается хищного удовлетворения и даже радостей, высказанных Виктором Ерофеевым, Евгением Евтушенко, Василием Аксёновым, подписантами Римского обращения и прочими “шестидесятниками” по поводу убийства Советского Союза, то я могу лишь вспомнить, как в 1992 году ко мне обратился корреспондент популярной парижской газеты “Монд” с предложением написать статью о том, как я отношусь к судьбе нашей великой державы.

После беловежского предательства прошло всего лишь несколько недель, когда мои страницы были напечатаны в новогоднем номере “Монда” под заголовком “Плач по Советскому Союзу”. Вот в какой-то степени наивный, но искренний текст этого моего плача:

“Я не просто жалею – я плачу о развале великой страны. Не потому, что отломилась Прибалтика, отгораживаются неприязнью, а то и ненавистью Грузия и Молдавия, нагнетает антимосковскую истерию Украина... Бог с ними. Насильно мил не будешь. Но оборотничество многих, кого раньше я считал добрыми и искренними друзьями – вот что ранит больше всего. Сегодня с холодной и брезгливой усмешкой я думаю о своих недавних друзьях по советской литературе – о живых классиках из Грузии, Литвы, Украины. Как страстно воспевали они дружбу народов, какими высокими словами клялись они в любви к России, как добивались того, чтобы их книги выходили на русском языке... На языке, который, как они говорят сегодня, служил орудием угнетения их народов. Как они все разом, как по команде, замолчали, словно воды набрали в рот, несколько лет тому назад. А потом, словно опомнившись от обморока, загалдели о необходимости уничтожения империи, о великорусском шовинизме. Ибо уничтожение Союза могло произойти при одном непременном условии: во что бы то ни стало унизить Россию, изобразить её врагом не только Грузии или Украины, но врагом чуть ли не всей мировой цивилизации.

Беспозлезно было напоминать о том, как персы вырезали жителей Тифлиса, как турки опустошали армянские города и сёла, как крымские татары во времена Богдана Хмельницкого покупали украинских девушек прямо под окнами “независимых” гетманов Украины, напоминать о временах, когда дедам и прадедам нынешних национал-русофобов нужны были русские штыки и русские солдаты. Но нынешним политикам не нужна история, оправдывающая Россию.

“Россия – раба”, “рабская нация”, “рабский менталитет” – и это о народе, разгромившем Гитлера и Наполеона! Великий Александр Пушкин в своё время без промаха определил неизменные истоки этой ненависти, когда писал о “рабах Бонапарта”:

*И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы!*

“Рабская нация” – и это о русском народе, сыны которого всегда сражались за родину в борьбе с Западом!

А что хорошего мы видели от него? Одни интернациональные нашествия. То – 1612 год, то объединённая армада Наполеона, “двунадесять языков”, то Севастопольская война 1855 года – Тройственный союз, предтеча Антанты,

то фашистский интернационал, объединивший не столько против социализма, сколько против России все тёмные силы Европы.

Да, с точки зрения Запада мы народ нецивилизованный. Но я не стыжусь этой особенности, а горжусь ею. В августе 1991 года я был на перенесении мощей Святого Серафима Саровского в Дивеевский монастырь. Слёзы подступили к горлу, когда увидел море народа, пришедшего со всей России к своему заступнику и чудотворцу. Это были в основном бедные русские люди, с землистыми лицами от усталости, от дальнего пути, от недосыпа и недоедания, плохо одетые, измученные всей многотрудной нашей жизнью. Но, если бы вы видели, как начинали светиться внутренним светом любви и веры их глаза и лица, когда они встречали Патриарха Всея Руси, когда приближались к раке с мощами Святого, когда падали на колени и целовали крышку раки. И тогда я подумал: “Культура — это Бог в душе, а не пиво в банках”.

Культура России, ныне оклеветанная, не сравнима ни с европейской, ни с американской, ни с индусской. Мы — православно-мусульманская Евразия, и потому попытка построить на нашей почве европейский дом — утопия, может быть, даже бо́льшая, чем ленинская авантюра мировой революции, нежели хрущёвская фантазия о том, что мы можем “догнать и перегнать” Америку.

Мне жаль Союза, потому что он умер насильственной смертью. Он был принесён в жертву мондиалистской, так называемой “мировой” цивилизации и националистической воле наших окраин. Наши вожди не использовали и малой доли возможностей для его спасения.

Когда Армения, жизнь которой зависит на девяносто процентов от российского сырья, гордо заявила о своей независимости, её тут же должно было оставить вне Союза, перенести границы и перейти на торговлю с ней по мировым ценам. Армения сразу же почувствовала бы дружеское покровительство Турции, и через неделю армянские лидеры приехали бы в Москву заявить, что они погорячились. А Грузия, уничтожающая Южную Осетию? Почему прорабы перестройки не организовали в ответ на этот геноцид такие же санкции против Грузии, какие мировое сообщество в своё время установило против ЮАР?

Вся беда в том, что мы на сегодня имеем в высших эшелонах власти людей, сознательно разрушающих вслед за Союзом Россию. Двадцать миллионов русских людей в Прибалтике, Закавказье, Казахстане, Молдове подвергаются гонениям. А Кремль не видит и не слышит их горя. Русские коммунисты отторгнуты от работы по возрождению России, к которой они были готовы. Ельцин своим указом о запрещении компартии поставил себя в ряд диктаторов вроде Муссолини, Пиночета или Суккарно и пополнил ряды недовольных ещё пятнадцатью миллионами оскорблённых людей. Неужели этот бывший партийный босс не знает истории своей партии, не знает, что преступная антирусская элита закончила свой кровавый путь в 1937 году, когда над ней был совершён Божий суд? И лишь приходится изумляться, что исполнителем приговора Провидение назначило Сталина.

А после тридцать седьмого года в стране возникла уже другая партия, сокрушившая фашизм, прошедшая сквозь пламя Отечественной войны и горнило патриотизма. Делать вид, что между этими двумя партиями нет разницы — преступление перед историей России.

Даже Франция всё-таки не пала до такой степени, чтобы поставить на пьедестал вместо героев Сопrotивления коллаборациониста Петэна. А наше нынешнее идеологическое отребье пытается изо всех сил на место маршала Жукова посадить генерала Власова.

Бедная Россия! Из последних сил с какой-то фатальной покорностью судьбе она до сих пор почти машинально демонстрирует миру то ли свою всечеловечность, то ли интернационализм, то ли полное отсутствие инстинкта национального самосохранения! Ну посудите сами: в высших эшелонах российской власти до сих пор кого только нет — и чеченцы, и грузины, и армяне, и евреи... Но разве сегодня возможно, чтобы в Грузии, Армении, Чечне рядом с Джохаром Дудаевым или президентом Гамсахурдия сидел бы русский человек, облечённый властью и доверием чеченского или грузинского народа? Разве возможно, чтобы в Израиле, где половина населения арабы, рядом с Шимоном Пересом сидел облечённый властью араб? Вы можете представить себе, чтобы рядом с президентом Франции или королевой Англии во времена

их колониального величия сидели бы в качестве министров и советников вожди и лидеры арабских, африканских, индусских племён той эпохи? А в эпоху Михаила Романова рядом с тронном были татары, при Петре Первом и Екатерине Великой – немцы, при Александре Благословенном армяне, грузины и даже французские аристократы, изгнанные революцией и Бонапартом со своей родины. И, разрушив Союз, мы засыпали под его обломками столь нужный для современного мира опыт.

Гибель Советской империи – это не просто гибель коммунизма, это гибель русской идеи. Россия по инерции ещё продолжает метать интернациональный бисер перед националистическими окраинами, но горько, что мир не оценит уже эту уникальную, реликтовую, чудом дожившую до нашего времени черту русской государственности, на которой, в сущности, и держалась империя Рюриковичей и Романовых.

Я горюю по бывшей стране, потому что радующийся при виде её обломков мир не замечает под ними великого аскетического опыта моей Родины, опыта, необходимого всему человечеству.

Опыт аскетически-уравнительной жизни бесценен бесценен для грядущей истории. Фаустовская воля Запада почти разрушила воды и земли, леса и воздух. Хочешь не хочешь, человечеству, чтобы выжить в эпоху глобального экологического кризиса, не сегодня, так завтра придётся отвергнуть идеологию безграничного потребления и вернуться к опыту самоограничения поневоле или по Божьему разумению, выработанному Россией и за всю её историю, и, особенно, за последние семьдесят лет. Ещё придётся миру поблагодарить мою Родину за опыт страданий и испытаний, предстоящих Западу. Только великий народ смог и сумел выдержать все перегрузки, связанные с приобретением этого жестокого опыта. Выдержал и надорвался. Возродимся ли мы? Евреи ждали своего возрождения две тысячи лет. Дождались. Даже мёртвый язык иврит оживили, что само по себе чудо. Болен сегодня русский человек. Мечет, ищет, напрягает силы. А значит, всё-таки живёт.

... Учёные взяли от бабочек самое плохое и ущербное потомство. Получили от него приплод. Снова взяли самых худших особей, получили от них детей и довели в конце концов популяцию до полного вырождения. Бабочки уже почти не размножались, не летали, а едва-едва ползали. Тогда естествоиспытатели выбрали из полумёртвого поколения более или менее приличные экземпляры, получили от них потомство и прошли весь обратный путь до той поры, пока не восстановили полноценную и роскошную породу в её истинном виде... Так почему бы не возродиться и нам?"

* * *

Ни один из “детей Арбата” не встал в ряд с Сергеем Залыгиным, Валентином Распутиным, Василием Беловым, Владимиром Крупинным, Валентиной Сидоренко и Верой Брюсовой, восставшими против безумного проекта поворота северных рек на юг, разработанного академиком Израэлем и его конторой.

Никто из “легендарных” “шестидесятников” не принял участия в изнурительной борьбе за спасение Байкала, которую возглавил тот же Валентин Распутин со своими друзьями.

Когда Андрей Вознесенский воспевал секвойю Ленина, обнаруженную им в каком-то из американских штатов, наш “шестидесятник” Владимир Чивилихин спасал уникальные кедровые рощи, раскинувшиеся в предгорьях Саян.

Никто из евтушенковских “шестидесятников-десантников” не приложил ни малейших усилий к возрождению православия в то время, когда Василий Белов отстраивал на свои средства церковь в Тимонихе, когда Распутин возводил храм в родной деревне Аталанке, а Крупин возрождал на вятской земле Великоорецкий крестный ход. Московские “шестидесятники” в это время кричали со всех столичных трибун: – “Политехнический – моя Россия!”.

Все мировые “прорабы духа” – Аксёнов, Окуджава, Гладиллин, Евтушенко и др., как черти ладана, избегали участия во всенародных торжествах – днях Славянской письменности, в крестных ходах, посвящённых тысячелетию Крещения Руси, в перенесении мощей Серафима Саровского из Санкт-Петербургского Казанского музея атеизма в Дивеевский монастырь. Помню, как во

время одного из таких крестных ходов в Великом Новгороде в праздник 1000-летия Крещения Руси вместе с патриархом Алексием шли Валентин Распутин, Владимир Крупин, Дмитрий Балашов и никаких битовых, вознесенских и прочих плейбоев рядом не было... Но этого мало. Подлинным священным событием для России православной стало отпевание в храме Христа Спасителя Владимира Солоухина и Валентина Распутина. Отпевание, которое совершал сам патриарх...

Представить себе невозможно, чтобы в главном храме России отпевали кого-то из лицедеев шестидесятничества, один из которых был якобы, по его собственному признанию, из рода священников и написал поэму о том, как его пращур, настоятель одного из древних владимирских храмов, то ли сам соблазнил не где-нибудь, но в алтаре юную прихожанку, то ли был соблазнён ею:

*Я разделась в церкви — на пари последнее
Окрести язычницу совершеннолетнюю.
Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?
Голым благовещеньем с глазами янтарными
первая из женщин я вошла в алтарную.*

(из поэмы “Андрей Палисадов”)

Этот “соблазн” (“человека создал соблазн”), о котором писал поэт в одноимённой книге, был куда хлеще и кощунственней, нежели глумливые пляски девиц из компании “Пусси Райт”. Вроде бы эти “пьяные балерины” в своём кураже что-то кричали непотребное о Путине, но, скорее всего, они просто начитались Вознесенского. Слава Богу, что им не удалось, подобно героине нашего знаменитого поэта-плейбоя, ворваться “в алтарную”.

Глава четвёртая

“ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ПЕПЕЛИЦУ...”

Село Никола стоит над извилистой речушкой Толшмой, вдоль правого берега которой, заросшего ивняком, ютятся тёмные бревенчатые баньки...

“Село стоит на правом берегу, а кладбище на левом берегу”. Я вспомнил эту строчку Николая Рубцова в Луксоре, где на правом берегу Нила жили некогда древние египтяне, а теперь стоят современные отели с бассейнами, где “на левом берегу”, словно врезанные в слепящее голубое небо, высятся пирамиды, гробницы, сфинксы, великанские статуи фараонов... Город мёртвых. Некрополь...

Все великие земные цивилизации и все деревенские, племенные очаги жизни рождались и строились одновременно с культом загробного мира с его потусторонней таинственной тишиной, с его божествами, с его родословным древом, живущим в памяти народов и каждого отдельного человека. Присутствие города мёртвых в Луксоре или в рубцовской Николе, священная связь с ушедшими поколениями помогала семьям, племенам, народам и государствам черпать силы в извечной борьбе за место под солнцем, выживать во времена гражданских смут и революций, в эпохи справедливых и несправедливых войн. Эта память давала силы новым приходящим в мир поколениям, усмиряла их страсти, обволакивала их души легендами, верованиями, обычаями. Память о нибелунгах, о рыцарях короля Артура, о Святогоре, об Илье Муромце, о Пимене Летописце...

Русские поэты всех времён всегда чувствовали эту мистику родства. В 1925 году, незадолго до смерти Сергей Есенин приехал в родное Константиново попрощаться с ним и сразу же пошёл на сельское кладбище: “Вспомнил я дедушку, вспомнил бабу, вспомнил кладбищенский рыхлый снег”... “Здесь кладбище, подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы застыли с распротёртыми руками”... А через несколько десятилетий Николай Рубцов с теми же чувствами выдохнул слова прощания:

*Тихая моя родина,
Ивы, река, соловьи.*

*Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.*

*— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители —
Это на том берегу...*

Там, где “каждому памятник — крест”.

В прохладных подземельях наших древних монастырей — в Киево-Печерской и Псково-Печерской лавре хранятся мощи наших святых — Ильи Муромца, летописца Нестора и множества безымянных монахов, молившихся за Святую Русь и за всех православных христиан. И не стоило бы нашему президенту иронизировать над “пещерным патриотизмом”, поскольку историческая память отчизны рождалась и накапливалась из века в век в Киевских и Псково-Новгородских “пещерах” — “печорах”, как произносили это древнее слово наши предки. А выброшенный в 1921 году во Францию пассажир “философского парохода” русский человек Сергей Булгаков в своих воспоминаниях оставил нам излившуюся на бумагу молитву:

“Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землёю и со всем Божиим творением... Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своём существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Всё моё оттуда...”

Это писал высланный из родной страны, изгнанный с родины и лишь потому избегший Соловков незаурядный богослов, историк, мыслитель. А в это же время не менее значительный сын России Алексей Лосев, блистательный знаток античной истории, но не заслуживший изгнания в Европу и поэтому отправленный всего-то на три года каторжно-исправительных работ в русло будущего Беломорканала, необходимого стране, как воздух, размышлял о том, что такое Родина, познав её тайну с изнанки, с другой, обратной стороны, нежели Сергей Булгаков:

“Каким именем назовём эту великую и страшную, эту всемогущую и родную для человека стихию, когда он чувствует себя не просто в физическом родстве с нею, а именно главным образом в духовном и социальном родстве с нею, когда он знает для себя такое общее, которое, несмотря на свою общность, содержит в себе бесконечное богатство индивидуального, когда это общее и есть он сам, в своей последней и интимной сущности? Это есть Родина”... “Сколько связано с этим именем всякого недоброжелательства, даже злобы, хуления, ненависти... Водворились презрительные клички: “квасной патриотизм”, “ура-патриотизм”, “казённый оптимизм” и пр., и пр. Это культурно-социальное вырождение шло рука об руку с философским слабоумием... По адресу России стояла в воздухе та же самая матерщина, что и по адресу всякой матери в устах разложившейся озлобленной шпаны...”

А поскольку Бог Троицу любит, вспомним, что писал о родине ещё один третий и по-своему не менее знаменитый сын России, не переживший ни эмиграции, ни гулаговских работ, а просто умерший смертью истощённого и уставшего человека в страшном 1919 году в Сергиевом Посаде, недалеко от которого находится его прах в Черниговском скиту:

“Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны её любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжёт и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от неё... Но и это ещё не последнее: когда она наконец умрёт, и обглоданная евреями будет являть одни кости — тот будет “русский”, кто будет плакать около этого остова, никому не нужного, и всеми плюнутого. Так да будет...”

Наши обычные деревеньки, когда-то неизвестные миру — Кулики, Бородино, Прохоровка, после героических судьбоносных сражений становились

всемирно знаменитыми, когда рядом с ними возникали поля, укрывшие своей землёй и травой прах десятков тысяч сыновей России: Куликово поле, с колонной, увенчанной православным крестом, Бородинское поле с монументами над прахом героев Отечественной войны 1812 года, Прохоровское поле со звонницей, вознесённой к небесам гением скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова... Великая страна не может существовать в истории без легендарных погостов.

А сколько на русской земле не знаменитых, но не менее священных кладбищ!

*Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,*

*Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.*

Мы победили на Прохоровском поле не только потому, что двинули навстречу “немецко-чешским” “тиграм” и “пантерам” свои уральские Т-34, но и потому что в “тридцатьчетвёрках” сидели наши молодые отцы и деды, за которых молились души всех русских людей, полёгших в сырую землю во всех отечественных войнах, во всех великих и малых сражениях. Мы, порой сами не сознавая того, разговариваем с ними, когда вспоминаем заветы, ставшие чуть ли не пословицами: “Мёртвые сраму не имут”, “Лучше быть убитому, нежели покорённому”, “Для Бога мёртвых нет”, “На миру и смерть красна”.

Не потому ли движимые каким-то общенародным инстинктом отряды наших молодых ребят ищут на полях былых сражений Отечественной войны останки павших красноармейцев, выкапывают из заросших окопов простреленные каски, клочки документов и писем, обломки старого, но некогда грозного оружия, а потом следуют ритуальные торжества, похороны останков в свежерытые могилы, установка над могилами монументов, молитвенные слова священнослужителей, оружейные залпы в честь захоронения героев, ставших теперь для нашей родины своеобразными “мощами”, отныне оберегающими нас. Эту истину никогда не понимали “шестидесятники”, которые на моей памяти разбрелись по всему белому свету, как “вечные странники”, о которых великий русский поэт сказал: “Нет у вас родины, нет вам изгнания”. И ничего удивительного нет в том, что наши жизненные пути на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века окончательно разошлись с путями и судьбами “детей Арбата”. Ну как можно было жить одной жизнью с этой, по словам Алексея Фёдоровича Лосева, “озлобленной шпаной” нам, мыслящим и жившим по заветам Александра Сергеевича Пушкина:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

Каждый из нас рано или поздно, но приходил к этим “пушкинским” откровениям, которые, скорее всего, овладевали поэтом, когда он встречал в дворянской среде тридцатых годов XIX века то масонов-англоманов, то полонофилов, то “французикизов из Бордо”, то русских светских дам, обожавших западные романы с “ловласами” и “грандисонами”. Раньше всех из нас, может быть, ощущавший, что век его будет недолог, вживался в пушкинский мир Николай Рубцов:

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

“Отеческие гроба” и “родные пепелища” моего родословного древа разбросаны по всей русской земле. Отцовская мелкочиновничья, учительская и служивая родня (одному из моих предков инспектору народных училищ Никанору Осиповичу Куняеву было пожаловано дворянское звание в 1818 г., когда Пушкин учился в лицее) лежит на петрозаводских погостах бывшей Олонецкой губернии. По материнской линии мои предки из калужских деревень Лихуны и Петрово упокоились на кладбище вокруг храма с красивым названием церковь Георгия на поляне. Последним на нём был похоронен мой дед по матери Никита Железняков, умерший от тифа в 1919 году. Вся остальная родня, переселившаяся в Калугу после революции и гражданской войны, нашла своё последнее пристанище на старом Пятницком погосте. Там похоронена моя бабушка Дарья Захарьевна, три её дочери – Пелагея, Евдокия и Александра – моя матушка, мой двоюродный брат, участник войны Юрий, и сестра Наталья, родившаяся в 1941-м, в костромском селе Пыщуг, куда нас, эвакуированных из Ленинграда, занесла судьба. Я закончил там три класса начальной школы и помню, что местные жители вместо слова “эвакуированные” называли нас более понятным для них словом “выковыренные”. Отец мой остался защищать Ленинград. Будучи невоеннообязанным по зрению, он, преподаватель института физкультуры имени Лесгафта, обучал бойцов народного ополчения уличным боям с немцами, если они прорвутся в город, а в феврале 1942 года умер голодной смертью и похоронен на знаменитом Писаревском кладбище. Осенью 1944 года отец был посмертно награждён медалью “За оборону Ленинграда”, которую питерские власти вручили мне в 2003 году. В Питере, в главном здании института на улице Декабристов над парадной лестницей висит мраморная доска с фамилиями преподавателей, погибших в блокаду. Список этот открывается словами: “Куняев Юрий Аркадьевич”.

Гордость нашей семьи, брат моей матери дядя Серёжа Железняков, сталинский сокол, прошедший две войны – финскую и Великую Отечественную, кавалер двух орденов боевого Красного Знамени и Отечественной войны первой степени, был штурманом эскадрильи авиации дальнего действия. В октябре 1941 года, когда немцы стояли в двадцати километрах от Москвы, его эскадрилья по приказу Сталина бомбила Берлин, за что он и получил один из орденов Красного Знамени. В нашей семье до сих пор хранится полуистлевший номер “Известий” со списком награждённых лётчиков, среди которых есть и дядя Серёжа со всем своим экипажем. В результате несчастного случая их самолёт разбился в апреле 1943 года, и лежат они все трое под одним памятником на военном кладбище неподалёку от города Подольска. Помню, как впервые мы всей ещё большой нашей калужской семьёй приехали к дяде Серёже осенью 1950 года. А после этого я не раз наведал его по праздникам Победы, а матушка моя переписывалась со старшеклассниками местной школы, ухаживавшими за могилами героев-лётчиков той войны. . .

Ещё об одном погосте не могу не вспомнить. Мой дед с бабушкой по отцу, уроженцы Петрозаводска Аркадий Николаевич и Наталья Александровна выучились в конце XIX века на врачей и работали сначала в мордовских краях недалеко от Дивеевой пустыни в больнице села Рогожка, а потом их перевели в Нижний Новгород, в лучшую больницу города, выстроенную на деньги купца Рукавишникова в 1913 году. А через год она стала госпиталем, куда начали поступать раненные с фронтов Первой мировой. . . Вскоре дед стал главным врачом больницы. . . А умерли они с бабушкой, заразившись тифом, во время гражданской войны и были похоронены с почестями на кладбище Печерского монастыря возле слияния Оки и Волги. В начале 30-х годов, когда советская власть закрыла монастырь, монастырское кладбище было разорено, сровнено с землёй, и я, много раз приезжавший в Горький – Нижний Новгород, смог лишь приблизительно установить, где похоронены дед с бабушкой. Но как бы то ни было – мемориальные доски с именем деда висят и на стенах больницы в Рогожке и в Нижнем Новгороде. А имя штурмана бомбардировочной эскадрильи Сергея Никитича Железнякова навечно вписано в Книгу славы Калужской области.

Как бы ни был славен и знаменит Святогорский монастырь, но вот уже почти двести лет его невозможно представить без могилы Александра Сергеевича. Тарханы обрели особую таинственную святость лишь после того, как бабушка Лермонтова привезла с Кавказа тело любимого внука и похоронила его в часовне. А разве Вёшенская или Ясная Поляна не обрели своей мировой славы в том числе и потому, что именно в их земле покоятся два великих сына России?

Глубочайший сакральный смысл повести Распутина “Прощание с Матёрой” заключается не только в том, что плодородные земли и лесные угодья исчезают под нашествием Братского моря на обжитые человеком пространства, не в том, что жителей затопленных деревень приходится переселять в другие селенья, а в том, что под рукотворными водами навеки исчезают погосты, хранящие память о людях, о семьях, о племенах, о народе, веками укоренявшемся в ту же землю... Не зря один из последних рассказов Распутина так и называется – “В ту же землю”... Поэтому уничтожение кладбищ в осетинском Цхинвале грузинскими оккупантами в 2008 году есть не просто военное преступление или факт геноцида, но преступление против божественного порядка Бытия, установленного в незапамятные времена. Не потому ли в сознании народов Средней Азии вторжение научной братии в гробницу Тамерлана в 1941 году сдвинуло пласты мировой истории в пропасть Второй мировой войны? Не потому ли Иосиф Сталин произнёс свою великую речь о сущности Великой отечественной войны с могилы Ленина, обрамлённой тёмно-красным мемориалом мавзолея? Не потому ли наше сознание никак не может примириться с тем, что кичливые ляхи разоряют надгробья над братскими могилами наших солдат, освобождавших Речь Посполиту... .

А разве можно себе представить сегодняшнюю мировую историю XX века без Мамаева кургана, без Пискарёвского кладбища, без надгробной фигуры советского солдата в Трептов-парке, без крымской Сапун-горы, без Брестской крепости?..

Помню, как меня поразила в “Тихом Доне” одна сцена, в которой Григорий Мелехов, потерявший Аксинью, набрёл в донской степи на безымянную могилу, спешился и прочитал на простой доске, прибитой к кресту, слова: “В годину смуты и разврата не осудите братья брата”. Слава Богу, что почти все мои любимые писатели, завершив жизненный путь, вернулись в отчужденную землю. Михаил Шолохов лежит в Вёшенской, Василий Белов в родительской Тимонихе, Виктор Астафьев в родной Овсянке, Валентин Распутин на кладбище Знаменского монастыря Иркутска, Фёдор Абрамов на погосте архангельской деревни Веркола, а Николай Рубцов на вологодском кладбище. Одним словом, мы продолжаем жить по обычаям и заветам, о величественной естественности которых догадывался Александр Пушкин:

*И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлеть,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.*

А мой покойный друг поэт Анатолий Передреев, когда побывал на могиле Николая Рубцова, был удручен тем, что на кладбище полно искусственных железных венков, но почти нет деревьев, и написал одно из лучших своих стихотворений:

*И лишь надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой
Еще живым дыханием согрето
И бережную прибрано рукой.*

*Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому,*

*Что он при жизни
О мертвых помнил, как никто другой!*

*И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мёртвые венки...*

*Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер... Опадает строчка:
“Россия, Русь, храни себя, храни...”*

Я всегда вспоминаю эти стихи, когда, бывая в Вологде, прихожу на вологодское кладбище к Рубцову, к Виктору Коротаеву, к Владимиру Ширикову... Кладбище уже совсем другое, заросшее берёзами, и ухоженных могил с живыми цветами много больше, нежели в рубцовские времена... И вещи слова Николая Рубцова, выложенные на мраморе, по-прежнему обращены ко всем русским людям, проходящим к могиле поэта, который из потустороннего мира взывает к нам живым, чтобы мы хранили “Россию, Русь”...

Поэтому ни Рубцов, ни Передреев, ни Распутин никогда не понимали тех “шестидесятников”, которые жаждали покинуть нелюбимую родину, ненавистное государство, разорённую “рашку”, забывая о родных могилах, к которым после их бегства никто уже не придёт ни в пасхальные дни с крашеным яичком, с куличом и четвертинкой, ни в Родительскую субботу, и холмики могильные лет через десять-пятнадцать покроются перегноем, осядут, зарастут дикой травой, будут стёрты с лица земли дождями, снегами, ветрами, бегом времени.

* * *

В 1946 году в свои четырнадцать лет я, услышав песню на слова Исаковского “Летят перелётные птицы”, запомнил её на всю жизнь и однажды, когда шёл от загородного сада через всю старую Калугу в мою 9-ю железнодорожную школу, мне так захотелось спеть эту песню для себя одного вслух, что я свернул в наш парк культуры имени Горького на высокий берег Оки, оглянулся – никого нет, и запел: “Летят перелётные птицы в осенней дали голубой, / летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, / а я остаюсь с тобою, родная моя сторона, / не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна”.

А много позже, когда я вырос и возмужал, когда погрузился в мир гражданских страстей, выплеснувшихся на поверхность истории после “оттепели”, когда я не только умом, но и душой отделился от всех “перелётных птиц”, от всех “людей воздуха”, которые так пророчески изображены на знаменитых картинах Марка Шагала, то не раз вспоминал, что моё возмужание началось в светлый, холодный день 1946 года, когда я выдохнул в осеннее небо над Окою слова бессмертной песни:

*Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.*

Но имя Михаила Исаковского так же, как имена Василия Розанова, Михаила Шолохова или Николая Рубцова, видимо ничего не значили для именитых “шестидесятников”, “улетевших” в “дальние страны”, чтобы сложить свои бранные останки на погостах Франции, Германии, Венеции, Америки, Эстонии, Британии. Подумаешь, какой-то Исаковский, прославивший колхозы и тирана Сталина! Я могу понять их чувства, но, на мой взгляд, судьбы подобных людей были ещё в XIX веке разгаданы великим поэтом, написавшим стихотворение, как будто бы обращённое к ним вчерашним и сегодняшним

с пророческой строкой, достойной того, чтобы стать пословицей: “нет у вас родины, нет вам изгнания”.

Да и Александру Сергеевичу Пушкину, на мой взгляд, Михаил Исаковский был бы ближе и роднее, нежели Галич-Гинзбург или Дезик Самойлов-Кауфман. Потому что пушкинская молитва о патриотизме, которую он словно “Отче наш” выдохнул в письме к Чаадаеву, гласит до сих пор:

“Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.

С горькими мыслями о том, что ни Александр Пушкин, ни Михаил Лермонтов, ни даже ни Михаил Исаковский не сумели убедить и образумить наших “перелётных птиц”, оперившихся во время XX съезда, в том, что слова “мать сыра земля”, “Родина-мать” не случайно возникли и живут в нашем языке с незапамятных времён, что древнеримская поговорка, ставшая европейской, — “где хорошо, там и родина” — не для нас, а для блудных сыновей человечества, как и притча о блудном сыне. Я, прочитав молитву “Отче наш”, лёг спать, и приснился мне в ту ночь вещий сон. Приснилось, что иду я по какому-то бескрайнему полю, а над полем медленно летит облако, снижается, из облака выходит Александр Сергеевич, в цилиндре, с тросточкой, во фраке, словом, такой, каким он всегда рисовал себя на полях рукописей, — и когда я подошёл к нему, он властным движением руки остановил меня и произнёс:

— Твои бывшие друзья не верят в силу слова, а ведь Слово возникло в начале Бытия и Слово было Богом. Они не верят в бессмертие Слова и не помнят моих стихотворений “Пророк” и “Памятник”:

*Нет, весь я не умру, душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит.
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.*

...Пушкин умолк, и облако опять стало поглощать его, а я в отчаянье закричал: — Александр Сергеевич! А как нам быть, если европейский мир кричит о правах человека на содомитскую жизнь! Ведь Вы сами пали жертвой заговора содомитов! — Пушкин раздвинул руками облако и пожал плечами: — На каждый роток не накинешь платок. Но их жалко. Они не понимают, что “Самостоянье человека” — происходит по Высшей воле, а права на грех им выдаёт князь тьмы. Он ждёт. Но пусть они вспомнят моё стихотвореньё, которое я написал незадолго до смерти:

*Как с древа сорвался предатель ученик,
Дьявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.*

Особенно страшно читать в этом стихотвореньё словосочетание “труп живой”, которое Лев Николаевич, как я предполагаю, взял у Александра Сергеевича, чтобы назвать им свою трагическую пьесу.

Тема эта неисчерпаема, и мне вспоминается, как я в середине 70-х годов, возвратившись осенью в Иркутск с Нижней Тунгуски из Ербогачена, где охотился и работал до тех пор, пока первые морозы не сковали и озёра и реку, встретился в Иркутске с Валентином Распутиным, с Ростиславом Филипповым, с Вячеславом Шугаевым, наговорился с ними о литературных делах, узнал о том, кто ещё из наших московских “шестидесятников” подписал какие письма, кто собирается валить из России в Израиль, а кто в Вену или в Америку,

сел в скорый поезд и покатил с охотничьим рюкзаком, со своими пушными трофеями, со своей ижевской двустволкой на Запад... А по дороге, проезжая через свой уже родной Тайшет, через Красноярск и Новосибирск, с которыми я тоже породнился во время сибирской жизни, подвёл черту под чувствами и переживаниями той осени в стихотворении, которое впоследствии определило если не всё, то многое в моей жизни. Эпиграф к этому стихотворению, названному мной "Родная земля", я взял у Анны Ахматовой: **"И ложимся в неё, и становимся ею, от того и зовём так свободно своею"**. Слава Богу, что Анна Андреевна, забыв о своих любовных победах и поражениях, вспомнила однажды о величественном обряде окончательного воссоединения каждого русского человека со своей родиной и подарила мне этот эпиграф...

*Когда-то племя бросило отчизну,
Её пустыни, реки и холмы,
Чтобы о ней, желанной, править тризну,
О ней глядеть несбыточные сны.*

*Но что же делать, если не хватило
У предков силы родину спасти
Иль мужества со славой лечь в могилы,
Иную жизнь в легендах обрести?*

*Кто виноват, что не ушли в подполье
В печальном приснопамятном году,
Что, зубы стиснув, не перемололи,
Как наша Русь монгольскую орду?*

*Кто виноват, что в мелких униженьях
Как тяжкий сон тянулись времена,
Что на изобретеньях и прозреньях
Тень первобытной слабости видна?*

*И нас без вас, и вас без нас убудет,
Но, отвергая всех сомнений рать,
Я так скажу: что быть должно — да будет,
Вам есть где жить, а нам — где умирать...*

Последняя строка этого стихотворения вольно или невольно, но перекликается с пушкинской любовью "к отеческим гробам".

Я написал его на одном выдохе и лишь с годами, постепенно осмыслил его значение... Действительно, где жили и где упокоились большинство "детей Арбата"? Анатолий Кузнецов в Лондоне на Хайгетском кладбище недалеко от Бориса Березовского, Сергей Довлатов на еврейском кладбище где-то возле Нью-Джерси, Давид Самойлов в эстонской земле, Александр Галич-Гинзбург в Париже на Сент-Женевьев-де-Буа там же, где лежит Виктор Некрасов, Фридрих Горенштейн на старом берлинском еврейском погосте, Михаил Дёмин-Трифонов на одном из парижских кладбищ, Иосиф Бродский после долгих мытарств, которых удостоился его прах, нашёл приют неподалёку от Венеции на острове Сен Микеле... Пётр Вегин, как и Наум Коржавин, захоронены где-то в Америке и поскольку так и не стали знаменитыми, то вскоре место их упокоения навсегда забудется. Будут помнить разве что самые близкие. Повезло Евгению Евтушенко и Александру Межирову. Им выпала доля лечь в родную переделкинскую землю.

Да, не всем моим друзьям посчастливилось вернуться в города и веси, где они родились, но то что они упокоились в ставшей родной для них Москве — это уже счастье. "На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог", — предчувствовал свою судьбу Сергей Есенин. И не только он один. На наших московских погостах лежат Ярослав Смеляков и Георгий Свиридов, Анатолий Передреев и Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов и Владимир Цыбин, Юрий Селезнёв и Михаил Алексеев. За кольцевой дорогой в подмосковной земле покоятся Василий Розанов и Константин Леонтьев, Леонид Бородин

и Николай Тряпкин, Борис Пастернак и Виктор Боков. По крайней мере их, незабвенных, в отличие от граждан мира можно навестить и в годовщину их рождения или смерти, в Родительскую субботу и в пасхальные дни, обтереть фотографии, выпить на помин души стопку-другую, прочитать молитву и вспомнить о том, что для Бога мёртвых нет...

* * *

На фоне визга и проклятий по адресу родины и русского народа, до сих пор несущихся, по словам Лосева, из уст “озлобленной шпаны”, как благородно, честно и бескорыстно звучат слова Леонида Бородина, отсидевшего подобно Лосеву в советском ГУЛАГе почти семь лет и незадолго до смерти в книге воспоминаний “Без выбора” великодушно и беззлобно попросившегося с жизнью и родиной:

“О себе же с честной уверенностью могу сказать, что мне повезло, выпало счастье в годы бед и испытаний, личных и народных, ни в словах, не в мыслях не оскверниться проклятием Родины. И да простится мне, если я этим счастьем немного погоржусь...”

Я тоже невольно погоржусь одной страничкой из мемуаров того же Леонида Ивановича Бородина, которого в 60–80-х годах я лично не знал, и с которым познакомился лишь в 90-м. Но мне выпало счастье странным образом поддержать его во время заключения в мордовском лагере, о чём он сам написал с печальной искренностью в книге воспоминаний “Без выбора”:

“Замечал я за хорошими поэтами одно свойство: то ли не ценить, то ли не понимать глубинного смысла иной, будто бы походя вставленной в стих строки. Больше десяти лет назад прочитал я у С. Куняева такую вот строку: “Чем ближе ночь, тем Родина дороже”.

Думаю, нынче он её сам не помнит. А я чем старше становлюсь, тем чаще по поводу и без такового строка эта всплывает в памяти... Она даже будто вообще не в памяти, а во мне самом. Будто мной придумана и переживается как нечто глубоко личное и собственное. <...>

Кто-то из немногих моих литературных критиков, кажется Лев Аннинский, не то в похвалу, не то в порицание уличал меня в романтизме. В действительности переход от романтизма к сентиментальности столь малозаметен, что порой, мне кажется, их даже можно перепутать. Ведь что есть в сути литературный романтизм? Попытка через некое, видимое как возвышенное, уйти от реальности. Но не бывает ухода без возврата, только возврат этот свершается как бы спиной к реальности, а тоскующими глазами всё туда же – в несвершённое, несостоявшееся, а иногда и разоблачённое и обличённое в пустомыслии “романтическом”, за которым, как оказывается со временем, с самого начала не числилось никакого содержания вообще, кроме, как бы сказал экзистенциалист, пустой интенции души...

Но как же, оказывается, порой дорога нам эта самая душевная интенция! Столь дорога, что, глядишь, и капают литературные слезинки на сухой лист бумаги, и бумага оттого нежнее, а бумажная нежность – это уже и есть мизантропия литературного сентиментализма.

Знаю, литературовед-профессионал назовёт сии рассуждения дилетантскими... Ну а кто я, собственно?..

Только пусть он, профессионал, разъяснит мне при этом, отчего куняевская строчка, та самая – “Чем ближе ночь (моя ночь), тем Родина дороже”, – почему она мучает меня в бессоннице, почему сотни, тысячи прекрасных литературных строк, сопровождавших меня по жизни, каковой, если откровенно, никому не пожелаю, почему эти строки, из памяти не исчезнув, большей частью как бы пребывают в “запасниках”, а эта вот, и не пушкинская, не тютчевская, не гумилёвская, – почему она...”

* * *

До сих пор “шестидесятники” не могут успокоиться по поводу того, что в эпоху девяностых они не смогли осуществить свои планы по окончательному разрушению русско-советского мира. 1 ноября 2017 года по телеканалу

“Культура” шла передача, посвящённая якобы “великому событию” — публикации в 1987 году романа Анатолия Наумовича Рыбакова-Аронова “Дети Арбата”. Передачу вели Фёкла Толстая и Наталья Иванова, вместе с режиссёром кинофильма, снятого по роману А. Эшпаем и актёром М. Сухановым. Вот несколько “идеологем”, высказанных этими “шестидесятниками” о минувшей советской эпохе:

“Сознание пещерное, патриархально-тираническое”, “Мы имеем нечто животное, которое всё разрушает на своём пути”, “У нас не было ничего подобного Нюрнбергу”, “К сожалению, тема “Детей Арбата” у нас не уходит”, “У нас сегодня изготавливают, как сувениры, бюсты Сталина, Бери, Дзержинского с надеждой, что это время вернётся”, “Какая страна погибает, какая культура погибает”, “Если бы у Шостаковича было больше свободы, он бы лучше сочинял”...

И всё это сказано в связи с романом “Дети Арбата”, с кинофильмом “Дети Арбата” и в связи с судьбой Анатолия Аронова-Рыбакова, лауреата Сталинской премии, умершего в Америке, куда вместе с ним прыгнули в “прорубленное окно” на Запад Евтушенко с Аксёновым, Межиров с Довлатовым, Юз Алешковский с Сергеем Хрущёвым, Вячеслав Иванов с Петром Вегиним, Наум Коржавин с Семёном Резником и т. д. Некий политобозреватель из той же тусовки Семён Новопрудский, сравнивая эту эмиграцию с эпохой “философского парохода”, употребил термин “философские самолёты” и с горечью писал, что на них улетают в Америку **“большинство приличных людей этой страны”**. Большинство этих “приличных людей” и упокоились недалеко от Нью-Йорка на еврейском кладбище с поэтическим названием “Холмы вечности”. Другая часть вернулась на родину-мачеху, в основном, в урнах. Почему вернулась — об этом со знанием дела пишет шестидесятник Владимир Соловьёв, ставший американцем и позавидовавший в своей книге “Не только об Евтушенко” Сергею Давлатову. “Почему” — Давлатов лежит на “Холмах вечности”? — спрашивает Соловьёв и с горечью отвечает, что не лежать ему рядом с классиком не потому, что он пишет хуже Давлатова, а потому, что надо дать “Семь тысяч в лапу — чтобы получить здесь место”. Одним словом, ничего личного, “просто бизнес”.

К тому же нельзя забывать, что лет через тридцать, ежели родня перестанет платить за твоё пребывание на “холмах вечности”, твои бранные останки могут быть выкопаны и зарыты в общей могиле для бедняков. Как тут не вспомнить, что в Переделкино литературных классиков до сих пор хоронят даром и гарантируют им согласно русским православным обычаям вечный покой. Вот и плывут по воздуху “философские самолёты” обратно в Россию, подалее от Америки с её “холмами вечности”.

* * *

Мне всегда были понятнее и симпатичнее русскоязычные “шестидесятники”, не менявшие своих фамилий на псевдонимы и честно, без стеснения, излагающие свои заветные, но неуместные для советского общества суждения.

Таким, к примеру, был поэт Давид Маркиш, сын известного еврейского поэта Переца Маркиша, прославившего в своё время террор 1937 года и сложившего свою курчавую голову в последний год сталинской эпохи. Его сын, переселившийся в 80-е годы прошлого века в Израиль, сочинил на “исторической Родине” своеобразный манифест, “надгробное слово” над Россией с её погостами:

*Я говорю о нас — сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.*

*Мы ели хлеб их, но платили кровью,
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим — цветами в изголовье
Их северной страны.*

*Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы станем у берёзового гроба
В почётный Караул.*

P.S. Это уже не “любовь к отеческим гробам”. Это удовлетворение человека, присутствующего на похоронах своих врагов. Но это ещё не всё:

*Щербат и сер луны ущербный серп.
Ещё что? Скажем: мреть и мор на море.
Мы дали Вам Христа — себе в ущерб.
Мы дали Маркса вам — себе на горе.*

Откровенные по чувствам и мыслям стихи. Но, когда я прочитал это стихотворение, то не понял: они за наш хлеб “платили” чьей “кровью”?.. Может быть, Маркиш имел в виду “красный террор” 1918 года, когда за наш хлеб было заплачено “нашей же кровью”? Или он вспоминает кровь, пролитую на жертвенник продразверстки и коллективизации? Давайте вспомним сцены из поэмы Багрицкого-Дзюбина “Дума про Опанаса”:

*В хате ужинает Коган
Житняком и мёдом.*

Иосиф Коган — местечковый комиссар, Опанас — гой, украинский крестьянин, которого облагает данью Коган. А если Опанас не подчинится, то:

*Усом в мусорную кучу —
Расстрелять и крышка!*

Вот какую картину, видимо, держал в уме Маркиш, когда писал: “мы ели хлеб их, но платили кровью”. Коган ест житный хлеб Опанаса, и если что не так — готов заплатить хлебоборбу его же кровью. Но это ведь та же “славянская” кровь, до которой ему, Маркишу, “нет дела”. “Мы дали вам Христа”... Ну это уже беспредельная наглость, поскольку такие, как вы, отправили его на Голгофу.

С такой же вызывающей удивление откровенностью, как и стихи Маркиша, написаны воспоминания известного советского актёра Михаила Козакова, отец которого был драматургом, написавшим пьесу “Чекисты”, членом делегации советских писателей, посетивших в 1933 году строительство Беломорканала, и принявшим участие в создании книги об этой лагерно-ОГПушной стройке.

В своих воспоминаниях Михаил Козаков перечисляет всех друзей-“шестидесятников”, но не из литературной, а из актёрской среды, демонстративно подчёркивая их “шестидесятничество” не только “по духу”, но и по крови: “Я принадлежал к довольно распространённой в художественных кругах России группе населения, — пишет Михаил Козаков. — Как её определить — право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов.

Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского...”

Вот ведь как бывает: “антисемитизм ненавидел и презирал”, а на “юдофобии любимейших Чехова и Булгакова” всего лишь спотыкался! А ведь на “юдофобии” Пушкина, Гоголя и особенно Достоевского можно было так “споткнуться”, что и не поднялся бы...

Как талантливые вроде бы люди запутывались в этой опасной болтовне, красноречиво рассказывает в книге своих воспоминаний “О друзьях и не только о них” известный в прошлом критик Станислав Рассадин:

“Меня пригласили в “Юность” и: — Стасик! Вы не еврей? — слегка огоршила меня Мэри Озерова. — Нет, русский, — робко отвечал я. — Ой, как хорошо! А то нас и без того здесь много... —

Смех смехом, но вопрос Мэри Лазаревны надолго породил во мне вполне нешуточный комплекс неполноценности. Вплоть до того, что: “Хочу быть евреем!” — шумел я под хмелем, понимал: хочу пройти испытание недоступным мне “пятым пунктом”, ибо подозревал, что если бы не моё, как говорится, кругом русское происхождение, сама судьба моя сложилась бы иначе...”.

Вот так “шестидесятники” Давид Маркиш, еврей по отцу и по матери, Михаил Козаков, полукровка, и Станислав Рассадин, стопроцентный русский, “поделились” со мной своими мыслями по “русско-еврейскому вопросу”. А вскоре к ним примкнул ещё один известный в те годы, а ныне подзабытый литератор Геннадий Красухин, с наивным простодушием вспомнивший о том, что такое либеральная шестидесятническая тусовка:

“Компания, образовавшаяся вокруг тебя и неизменно приезжавшая в Дубулты аккурат перед Новым годом, воодушевляла. Булат пел свои песни. Олег Чухонцев читал стихи, которые смог напечатать только в перестроечное время. Михаил Козаков декламировал запретного Бродского, не отредактированных цензурой Самойлова и Рейна <...> Завораживал своими смешными и трагическими байками бесконечно влюблённый в русскую историю Натан (для друзей — Таник) Эйдельман, Стасик Рассадин делился своими парадоксальными мыслями о драматурге Пушкине. Алик Борин живо воспроизводил эпизоды из зала суда, а писатель врач Юлий Крелин вспоминал много любопытного из богатой медицинской практики, но лучшим рассказчиком безусловно признавали Булата Окуджаву” (Г. Красухин “Портрет счастливого человека”. М. 2012 г.)

Именно о такого рода посиделках “либерально-масонской ложи” пел Окуджава: “Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке”. А о том, как Натан Эйдельман был “бесконечно влюблён в русскую историю”, рассказал в переписке с ним Виктор Петрович Астафьев, к сожалению, не знавший, что отец Натана Эйдельмана, журналист 30-х годов, подписывавшийся под псевдонимом Э. Дельман, так излагал в мае 1935 года на страницах “Литературной газеты” судьбоносный процесс над выдающимся русским поэтом Павлом Васильевым: “Лжёт, Павел Васильев! Нагло клеветает на советскую литературную общественность, которая вышвырнула вас из своих рядов из-за ваших “волчьих” повадок, несовместимых с высоким званием советского писателя. Вам не удастся прикрыть свою уголовную сущность громкими фразами. Вам не удастся скамью подсудимых превратить в пьедестал для монумента самому себе. Вы разоблачены до конца”...

Не об этом ли возмездии писал потомок “комиссаров в пыльных шлемах”: “Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары”?

Под впечатлением от такого рода посиделок, я, не раз бывавший в Дубултах и видевший, как смягчились в 60-е годы литературные и общественные нравы по сравнению с 30-ми годами, отзывался на эти посиделки вполне лояльными, но отнюдь не либеральными стихами:

*Пятнадцать лет тому назад
три друга жили здесь беспечно...
Ну что ж — никто не виноват,
что это не продлилось вечно.*

*Ужель predeterminedена
навек вся наша доля свыше?
Как развела друзей она —
один в земле, другой в Париже...*

*А третий вешний воздух ртом
хватает горестно и жадно
и снова думает о том,
что жизнь, как совесть, беспощадна,
что тяга родины-земли,
её укор, её тревога —*

*затем,
чтоб в мировой пыли
не сгинула твоя дорога!*

То, что такого рода “посиделки” добром не кончатся, что рано или поздно проклятый “русско-еврейский вопрос” потребует своего разрешения, было понятно многим моим современникам. Вот что писала об этом идеологическом расколе весьма осторожная в своих мыслях и поступках генеральская дочь и русская поэтесса Лариса Васильева:

“В нашем литературном мире разделённых на правых – славянофилов, и левых – западников лакмусовой бумажкой для определения принадлежности писателя к тому или иному лагерю был еврейский вопрос. Если ты еврей, значит, западник, прогрессивный человек. Если наполовину – тоже. Если ни того, ни другого, то муж или жена евреи дают тебе право на вход в левый фланг. Если ни того, ни другого, ни третьего, должен проявить лояльность в еврейском вопросе. Точно так же по еврейскому признаку не слишком принимали в свои группы правого, славянофильского фланга” (Л. Васильева “Дети Кремля”, М. 1997 г.)

* * *

Одной из душевных болезней “западных шестидесятников” (“штатников”, как называл их и себя Василий Аксёнов) было равнодушие, а скорее даже враждебность по отношению не только к государству, но и к отечеству. Какими бы “пушкинианцами” или поклонниками Александра Сергеевича они ни называли себя, как бы ни клялись в стихах и прозе в любви к поэту, на деле его “любовь к родному пепелищу” была им чужда. Потому-то в последние советские времена, а тем более, в рыночно-демократические они словно по команде свыше разбежались по разным странам Западного мира.

Бегство их, несмотря на “победу демократии” в СССР, на отмену цензуры и “крах тоталитаризма”, на ликвидацию “кровавой гэбни” и прочих “уродств” советского мира, было массовым. Гражданами, подданными или временными жителями американского мира стали Е. Евтушенко, В. Аксёнов, Б. Парамонов, Д. Петров-Шраер, А. Межиров, А. Янов, А. Грушко, С. Довлатов, А. Рыбаков, П. Вегин, Целков, В. Соловьёв, Е. Клепикова, Э. Неизвестный, Н. Коржавин, Ю. Алешковский, М. Юпп, Д. Бобышев, С. Резник, П. Грушко, С. Эткинд, А. Шрагин, Л. Халиф и многие-многие другие любимцы муз. Поневоле вспоминаются опять же стихи Пушкина: “Сколько их? Куда их гонит? Что так жалобно поют?” А на каком языке поют? – на русском. . .

С житейской точки зрения “не литературных” перебежчиков ещё можно понять: плясуны, балеруны, киношники, живописцы – всяческие шемайкины, нуриевы, шуфутинские, барышниковы, крамаровы, сичкины и т. д. всегда могли найти себе дело в Голливуде, в американском балете, на художественных выставках, в ресторанах на Брайтон-Бич. . . Но что делать в Америке “кудесникам русского слова” и радетелям “русской речи”? Кому, каким французам или “офранцузенным русским” были нужны осевшие на Западе приблизительно в те же времена В. Максимов, А. Гладилин, А. Синявский, М. Розанова, В. Некрасов, Н. Горбаневская, М. Дёмин, коего, жившего подобно Владиславу Ходасевичу на “парижском чердаке”, я навестил в 1983 году, и который взмолился, чтобы я каким-то образом помог ему вернуться на родину?

А сколько их, плохо читавших Пушкина и не читавших Рубцова, осело в тогда ещё свободной от нашествия африкано-азиатских племён Германии? Г. Владимов, А. Галич, В. Делоне, Ф. Горенштейн, Т. Жирмунская, Л. Копелев, Р. Орлова. . . С Владимовым, Жирмунской и Максимовым я успел попрощаться и даже говорил им, что жду их возвращения.

Конечно, о “гражданах мира”, о “мировых знаменитостях” память держится дольше, нежели о нас грешных, цепляющихся за свои, по словам Пушкина, “предрассудки”, за свои родные пенаты и погосты. Рано или поздно – всё забывается: и даты, и имена, и дорожки мимо ржавых ограждений быльём зарастают.

“Sic transit Gloria mundi!” – “так проходит земная слава”, но особенно быстро она проходит, если прах знаменитого человека находит себе последний

приют где-нибудь на чужбине. “Чужбина” — какое страшное слово! От него можно защититься только тёплой русской пословицей: “Где родился, там и сгодился”, наверно поэтому будут помнить тебя твои реки, твои леса, твои кладбища. “Складбища”, как сказала мне одна поморская старушка — то есть место, куда “складывают”. Будут тебя помнить какое-то время твои читатели, но их дети уже едва ли. . .

Перечисляя страны, куда ринулись за свободой и популярностью (несколько интервью, пара книжек мизерным тиражом, кое-какие гонорары, а если повезёт, как Аксёнову или Максимову, то работа на “Голосе Америки” или “Свободе”) десятки, если не сотни известных в СССР “прорабов духа”, нельзя не вспомнить о земле обетованной. . . Да, в Израиле чуть ли не все, кого встречаешь на улице, говорят по-русски, у многих двойное гражданство, но причины того, почему в эту опасную, “горячую” ближневосточную земную точку рванулись и детская писательница Елена Аксельрод, и романистка-матершинница Дина Рубина, и Давид Маркиш, и знаменитый артист Михаил Козаков, лежат гораздо глубже. О том, какие сакральные чувства продиктовали всем вышеупомянутым советским писателям поменять одну родину на другую, Михаил Козаков с редкой откровенностью изложил в книге своих мемуаров “Третий звонок”:

— “Один замечательный актер старшего поколения, той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил: “Запомни, Миша! Мы в России — в гостях. Запомни: в гостях! И перестань чему-либо удивляться”. Я возражал: “И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?” — “Да, всё это так, Миша, и всё-таки мы в гостях”.

Признаться, я так не думал, по крайней мере тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался. . .”

Об этой тайне еврейской души я догадывался и задолго до роковых девяностых попытался разгадать её в одном из своих стихотворений, которое, по моему, и печатаю впервые:

*Кто куда — к Арарату армяне.
Иудеи к священным холмам
с долгожданною визой в кармане,
“дым отечества”, жизнь пополам.*

*Патриоты и космополиты,
разногласья забыв навсегда,
пишут письма, читают молитвы,
ждут ответа, считают года...*

*Под защиту родимого крова,
завершая всемирный процесс,
возвращается прах Огарёва
на Ленгоры, и в этом — прогресс.*

Стихотворение написано в 70-х годах, когда русское тёплое поветрие смягчило идеологические нравы, когда общество, словно бы услышав завет Пушкина о “любви к отеческим гробам”, с торжеством отпраздновало возвращение праха Огарёва из Европы на Воробьёвы горы, где они с Герценом давали клятву до конца жизни бороться с самодержавием. На этой волне “оттепели” вернулись в Россию на родные погосты прах Фёдора Шаляпина и Антона Деникина.

Влияние этой исторической стихии затронуло и души отпрысков двенадцати колен израилевых, почувствовавших запахи “родного пепелища”, о котором, как оказалось, они никогда не забывали, если вспомнить “Переписку из двух углов”, которую затеяли в 1920 году Василий Розанов и Михаил Гершензон. Последний однажды написал своему оппоненту:

“Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о её иной весне, о запахе её цветов и говоре её женщин. Где моя родина? Я не увижу её, умру на чужбине”. И это писал

абсолютно ассимилированный “чужеземец”, исследователь творчества Пушкина и Чаадаева, Огарёва и Ивана Киреевского, автор книг “История молодой России”, “Грибоедовская Москва”, “Мудрость Пушкина”.

В 70-е годы прошлого века эта “переписка” ожила, зашевелилась, и оказалось, что и Гершензона можно понять, и Михаила Козакова с его старшим другом, ветераном Отечественной войны, и даже Давида Маркиша... Одно удручало: чувствуя в душе такие “гершензоновские” позывы, зачем им было клясться, словно бы на Библии: “Родина моя Россия, няня, Дуня, Евдокия” (А. Межиров). Или “Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю” (П. Коган). Или “Я, как из веры переходят в ересь, отчаянно в Россию перешёл” (Б. Слуцкий).

Но не так-то просто перейти из одной веры в другую. Это легко получалось у Евтушенко или Вознесенского. Сегодня “Сталин”, завтра “Бухарин”. Сегодня Маяковский, завтра Ален Гинсберг. Но попытки поменять “веру” у поэтов более серьёзных вроде Межирова или Слуцкого стали трагедиями их жизни.

(Продолжение следует)